Игорь Чубаров

«Эшафот как театр» Николая Евреинова

В статье проводится сравнительный анализ идей театрализации жизни Н. Евреинова и концепции рождения тюрьмы М. Фуко.

Ключевые слова: не репрессивные теории телесных наказаний, пытки, российские реформы 1860-х годов, рождение российской тюрьмы, театрализация жизни, Николай Евреинов, Мишель Фуко.

Тема телесных наказаний, пыток и различных видов неформализованного насилия в российском обществе имеет довольно богатую историю и историографию. В XIX веке ее пополнение было естественно связано с реформами 1860-х годов. Авторами множества монографий на эту тему были в основном известные русские юристы, правоведы и писатели. Здесь достаточно называть имена Вл. Короленко, А. Тимофеева, В. И. Яковенко, Д. Н. Жбанкова, М. Ступина. Однако особый интерес в этом ряду представляет собой исследование «История телесных наказаний в России» Н. Н. Евреинова — режиссера, драматурга и театроведа с яркой и витиеватой судьбой. Автор знаменитой концепции «театрализации жизни» и «театра для себя», основатель жанра монодрамы, главный режиссер нашумевшей массовой постановки «Взятие Зимнего дворца» (1924 г.), Евреинов эмигрировал во Францию, где стал первым режиссером звукового кино и... высокопоставленным масоном[1].

Не удивительно, что своеобразные увлечения автора предопределили совершенно отличный от позиций перечисленных специа-

---

Чубаров Игорь Михайлович — кандидат философских наук. Старший научный сотрудник ИФ РАН (Москва). Член редколлегии журнала «Логос». Сотрудник Центра современной философии и социальных наук при философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Стипендиат Фондов Alexander von Humboldt (Берлин, 2006–2008) и Volkswagen (Бохум, 2009–2011). Научные интересы: творчество Вальтера Беньямина, архив русской теоретической философии (Г. Шпет и его школа), теории русского левого авангарда (производственное искусство), медиатеория (школа Ф. Киттлера), современная критическая теория, философская критика насилия и т. д.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 12-03-00 642.

1 См. о нем во 2-м томе биографического словаря «Русские писатели» и статью в книге Евреинова Н. «Тайные пружины искусства».

листов акцент в представлении пыточной проблематики. Во введении к книге Евреинов критикует своих коллег за односторонний формализм в подходе к этой теме, «с достаточной полнотой трактовавшими о формальной стороне наших отечественных наказаний „на теле“, но постепенно не касавшимися или затрагивавшими лишь в незначительной степени интимную, так сказать, анекдотическую сторону этих наказаний, столь различно, как мы знаем, применявшимися на практике, в зависимости от жертвы, палача, обстановки и «исторического момента»».

Евреинова изначально интересовала позитивная в фукианском смысле сторона вопроса, связанная с психологией народа, привычками, традициями социального общения и тем принципиальным разрывом, который существует между правовыми определениями преступления и реальными отправлениями наказания.

Так же как и позднее М. Фуко, Евреинов в большей степени обращает внимание не на репрессивную функцию наказаний и пыток (против которой всегда только и выступали правозащитники), а на ее «продуктивную» сторону. То есть ее роль в становлении особого типа чувственности и своеобразной социальной субъективности — наказываемого и наказывающего субъекта, члена общества и носителя его культуры.

Пытка в этом смысле выступала одним из мощнейших механизмов социального производства образа человека и разнообразных режимов истины, конституирующих его жизнь через семью, медицину, образование, армию и проч. социальные институты, где этот экстремальный вид социального общения применялся не в меньшей степени, чем в тюрьме.

Но в различных культурах и исторических периодах результат соответствующего «производства» мог быть различным, ибо понятно, что человек остается человеком и при абсолютизме, и при тоталитаризме, и в условиях либеральных и демократических государств. Но это будет всегда разный человек. Если в первых двух случаях речь идет о человеке массы, абстрактной единице конкретного общественного целого, т. е. неиндивидуализированном человеке, то в условиях дисциплинарных демократических обществ человек в известных приближениях (с рядом языковых, но не смысловых оговорок) тяготеет к индивидуализированной форме.

Евреинов, разумеется, не ставил фукианских вопросов, и его работу не стоит рассматривать как еще одну иллюстрацию продуктивности метода археологии знания и генеалогии общественных институтов, хотя движение в сторону «более глубокого освобождения человека, нежели он сам» (М. Фуко), характерно и для него.

Но мы сталкиваемся здесь с фундаментальным отличием самого материала, с которым имели дело русский и французский

теоретики. Достаточно сказать, что при царским режиме в России заключение в остроги, смирительные и работные дома, крепости и монастырские тюрьмы как мера наказания использовалось почти исключительно в отношении государственных, религиозных и прочих опасных для самого существования монархии противников [Гернет, 1960]. И вплоть до 1917 г. тюрьма так и не выделилась из общей карательной системы наказаний, являясь лишь ее частью или «приложением к массовому применению телесных наказаний» [Подорога, 1999][1], а при сталинизме и с определенными трансформациями до нынешнего момента тюрьма превратилась в место еще более жестоких, телесных и моральных практик подчинения, фактически не формализованных юридически.

Российская тюрьма в этом смысле не просто производит типы преступника и преступлений. Она не только принципиально отличается от определенных правом мер наказания, не просто имеет собственный план содержания и собственное же имманентное ему выражение (неписаный распорядок тюремной жизни), к плану правовых определений не сводящееся (как это представлял Фуко). Российская тюрьма до сих пор остается совершенно особой социальной институцией, располагающейся одновременно в обществе и вне общества. Она, как общество в обществе, выпукло отражает скрытые в большом социуме изъяны, перверсии, до предела обнажая сущности практикуемых в этом обществе способов отношений к другому в широком смысле и в узком — другому полу, другой нации и т. д.

Поэтому, в частности, изначально проблематичны невольно напрашивающиеся при обращении к нашей теме аналогии со знаменитым исследованием «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», в котором Фуко описывал историю западной пенитенциарной системы, ибо она может быть соотнесена с русскими реалиями лишь отчасти.

По сравнению с описанием Фуко у нас речь может идти как минимум о еще двух переходных ступеньках от правовых определений к исполнению наказаний. Это уровень непосредственного определения наказания царем, князем или феодалом, который часто сам являлся и палачом, а, значит, мог изменять наказание в процессе его осуществления (принимая в расчет состояние наказуемого, его признание-раскаяние, собственные настроения и психические аффекты и др.). При этом закон становился как бы имманентным самому наказанию, неким дополнительным аспектом его применения. Кроме того, что он определял само наказание, закон в России являлся дополнительным источником удовольствия для палача. Фантазм монарха

1 Как справедливо пишет В. А. Подорога, «история телесных наказаний и есть единственная история становления института тюрьмы в России».

прямо мог выражаться в *ad hoc* изменяемом законе, обеспечивая ему непосредственное наслаждение буквой, которая тут же выжигалась на теле казнимого. Совсем по Кафке в смысле Жижека [1995, с. 50].

Поэтому дело здесь и не только в запоздавших на столетие по сравнению с Западом буржуазно-демократических реформах. Ведь, во-первых, отмена крепостного права и формальная отмена телесных наказаний не означала их отмену в реальной полицейской практике и вообще всей общественной российской жизни ни в конце XIX, ни в начале XX века[1]. Во-вторых, и это главное, эти реформы так не привели к появлению тюрьмы в ее западном понимании. И этому есть ряд политэкономических причин и социальных последствий.

Отмену публичных казней, унизительных телесных наказаний и жестоких пыток в застенке совершенно справедливо связывают с нарождающимся капитализмом, для нужд которого был нужен формально свободный индивид — рабочий, способный к миграции и не имеющий в собственности ничего кроме своей рабочей силы. Для Фуко был очень важен этот вывод, потому что он наглядно демонстрировал, что реформы XVIII века в западноевропейской пенитенциарной системе и пресловутое «смягчение наказаний» были вызваны вовсе не гуманизацией власти и общества при капитализме, а изменением формы собственности и, как следствие, политического правления. Право наказывать людей как животных было связано с феодализмом и сельским хозяйством. Но с появлением капиталистической собственности, когда системам власти стало что терять, кровавые публичные наказания и смертельные пытки постепенно сменились своеобразным воспитанием личности, ибо наказанием смертью утраченной собственности было не вернуть. Важно было произвести самого субъекта права с целью вменения ему моральной вины — целой системы противозаконностей, которые он теперь должен был разделять (не равно) с собственниками средств производства [Фуко, 1999].

Но в России, несмотря на появление государственного и начатков частного промышленного сектора еще при Петре I, говорить об объективной потребности в новом виде наказания и надзора, в новом виде социального субъекта не приходилось ни в конце XIX, ни в начале XX века. Капиталистические инициативы Петра, Екатерины, ряда дворян-помещиков в XIX веке носили по преимуществу подражательный (в отношении западных монархий) характер и не могли быть

1 Е. Молчанова и Ф. Иванов, соавторы Евреинова, описывают ситуацию с телесными наказаниями в пореформенный период в последних главах упомянутого исследования.

основанием для изменений в интересующих нас практиках. Россия того времени, аграрная страна по преимуществу, перешла к развитию государственного капитализма уже только после революции 1917 г.

Подражательный характер русской культуры определил и такой длительный, с откатами назад, процесс отмены телесных репрессий. Из книги Евреинова видно, что при Екатерине Великой вопрос об отмене телесных наказаний был поставлен достаточно глубоко, но при ней же был дан некоторый обратный ход «в связи с местными условиями». А при Павле I этот регресс еще более усилился.

Можно цинично заметить, что для отмены телесных наказаний в России XIX века так и не сложилось адекватных капиталистических отношений в экономике, и что они были даже преждевременно отменены, как и крепостное право в целом[1].

В этой же связи представителю русского социума тяжело оценить революционный потенциал фукианских открытий, потому что у нас полноценного перехода от практик мести суверена к дисциплинарному буржуазно-демократическому обществу в нужное время так и не случилось. Вернее, переход этот затерялся, запутался между незаладившейся буржуазной и победоносной социалистической революциями. Разобраться, почему отмена одной системы репрессий привела к еще более жесткому репрессивному обществу и государству, минуя дисциплинарную стадию, было трудно.

Субъекта, которого то и дело вызывается освобождать разного толка государственническая идеология, у нас просто не было, и долгие десятилетия на российских просторах преобладали коллективные, коммунальные тела. Надо правильно понимать, что поэтому и ГУЛАГ, например, репрессировал не индивида, а массу крестьянства, и был в этом смысле способом производства нового коллективного субъекта из старого, минуя стадию индивидуализации.

Все разговоры о гражданских свободах, гражданском обществе в России до сих пор бьют мимо цели по сходным причинам. Парадоксально, но для того чтобы действительно освободить нашего человека и общество, мы должны прежде пропустить его через дисциплинарные институты западного типа, которые подробно описал Фуко, потом их до основания разрушить, а уже затем ставить вопрос о социальном освобождении.

А у нас получается, как всегда, подобно Ленину в 1917-м и Сталину в 30-х, единороссы в 2000-х говорят о скачке в постиндустриальное общество, минуя предшествующие стадии! Но если более консер-

1 Это вовсе не консервативный бред, к подобным выводам нас подтолкнула, например, книга современного историка Б. Ю. Кагарлицкого «Периферийная империя»: Россия и миросистема».

вативные институции (тюрьма, армия, школа, медицина) при этом никакой трансформации не претерпят (а они ее не претерпят), все эти скачки окажутся опять же скачками на месте.

Евреинов практически впервые в русской правоведческой литературе предложил достаточно изящную версию выхода из сложившейся ситуации. В начале книги он вспоминает лекцию, на которой один «прогрессивный» правовед старой закалки гневно изобличал антигуманность наказания кнутом. Все бы ничего, но во второй половине выступления этот лектор с таким же запалом начал восхвалять достоинства трехвостной плети. То, что подобный подход является вовсе не курьезом, а принципиальной исследовательской позицией, которой не так просто выдвинуть альтернативу и в наше время, согласится любой авторитетный историк российских институтов подавления [Анисимов, 1999].

Очень удачно Евреинов пишет о связи пытки с понятием истины. Мало кто задумывался, например, об этимологии слова «подлинный», характеризующей одну из важнейших истинностных характеристик. А ведь за этим возвышенным словом стоят банальные «голландские линьки». Это довольно-таки противные пыточные приспособления, которыми изначально наказывали матросов, а затем они стали очень популярны при Петре I, который завез их вместе с картофелем и томатами. Возьмем простонародное словечко «поднаготная». Здесь легче почувствовать связь понятия истины с практиками при-*знания* под пыткой. Та же связь присутствует и в выражении «добиться правды». При наличии места можно было бы показать, из какого кровавого месива происходит «русская идея» и «русская правда», очень поздно получившие здесь эпистемические и логические алиби, подобно тому, как в свое время Ницше [1990] продемонстрировал происхождение «вневременных» и «априорных» моральных идеалов из жестоких яслей долгового права.

Но самое главное — за помянутой анекдотичностью в представлении телесных наказаний и пытки у Евреинова прочитывается его будущая концепция происхождения театра из эшафотной практики и эстетики и обратного одновременного влияния театра на эшафотные процедуры.

В лекции «Театр и эшафот» (1918 г.) он говорил: «Куда бы мы ни обратились, — к истории, фольклору, психологии ребенка или этнографии, — везде мы наталкиваемся на явные или скрытые признаки эшафота, где палач и жертва (человек или животное) первые на заре искусства драмы определяют своим действом притягательность этого нового для толпы института — института, еще только в будущем имеющего стать театром».

В найденной нами в Бахрушинском музее рукописи под названием «За кулисами кулис. Театр тож. Эшафот как театр» встречается

и обратный ход: «Вот больной, умирающий, собирается ли толпа смотреть на него? Нет. Потому что здесь нет театра (борьбы, насилия, человеческого произвола, преображения, от творческой воли человека зависящего). Но больна (травматические повреждения) и жертва торговой казни (кнутом) и толпа жадно смотрит. Потому что здесь театр = эшафот»[1].

Отсюда и иной вектор евреиновской критики, вернее, иронии над традиционным обществом не чисто в правовой перспективе, а на уровне содержания, социальных практик, отправляемых людьми с определенным типом чувственности. Отсюда и другие рецепты исправления ситуации не столько через реформу правовой системы, сколько через изменение порядков желания — форм общественного взаимодействия. Этот путь, по Евреинову, лежит через тотальную театрализацию — художественное отрешение всех известных социальных практик, в ряду которых стоит даже сама Октябрьская революция. Именно этот смысл был заложен во впечатляющем перформансе 1920-х годов «Повторное взятие Зимнего дворца», в котором принимали участие более 10 тыс. актеров и 150 тыс. зрителей [Чубаров, 2006].

С этим же связано и его позднейшее увлечение масонством, феномен которого мы здесь рассматривать не можем. Важно, чем он привлек Евреинова, выехавшего во Францию в начале гонений на интеллигенцию в России. Он видел в нем выход из национального мифа в своеобразных формах театрализации жизни. Именно в этом плане он интересовался масонскими ритуалами как альтернативными способами субъективации с условной, театральной долей субординации, которая предполагается в системе градусов, гроссмейстеров и т. п. Перефразируя известный афоризм Евреинова из его «Инвенций о смерти», можно сказать о нем самом: «Тот, кто понял театр как радость преображенья, умрет актером или в масонском балахоне».

Его концепция театрализации жизни — это концепция условных ролей, т. е. попытки инсценирования всех сторон жизни, включая смерть. Таким образом, есть только два пути адекватного задания этой темы — представление опыта другого (дать ему говорить) или инсценировать этот опыт (если другой мертв) вместе с рекомендациями к лучшему и терапевтическим эффектом идеального переживания.

В рукописи «Эшафот как театр» Евреинов утверждает, что желания инсценирования, лицедейства не лишены даже казнимые жертвы. Но это вовсе не предполагает оправдания пыточной прак-

1 См.: АРО ГЦТМ (Музей Бахрушина), ф. 96 (Евреинов Н. Н.), ед. хр. 7. Опубликовано: *Евреинов Н.* Тайные пружины искусства... М., 2004. С. 191.

тики и казней. Скорее, наоборот, осознание этого симулятивного эффекта является более действенным средством борьбы с невыносимой социальной реальностью, чем действительно иллюзорные надежды на «справедливое право», «мягкие наказания» или «открытую тюрьму».

Подобная позиция дает возможность вырвать у смерти ее жало, а заодно лишить наказывающую власть ее псевдомогущества и псевдореальности, а ее исполнителей — возможного удовольствия от насильственных действий.

В этом же заключалась и цель исследований Евреинова о телесных наказаниях. Речь шла о вербальном и визуальном реинсценировании всех наказаний царской России, несмотря на всю болезненность соответствующих воспоминаний. Чтобы реальность этих наказаний не была такой тяжелой, Евреинов предложил проект идеального ре-переживание сцен насилия с целью их отстранения (прямо по Л. Выготскому [2001, с. 387–412]). Так, без каких-либо оптимистичных социальных проектов (либеральных или революционных), на уровне изменения порядка чувственности возможно, с его точки зрения, преодоление печального положения вещей в отношениях российского общества и государства.

Библиография

1. *Анисимов Е.* Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М.: НЛО, 1999.
2. *Выготский Л. С.* Анализ эстетической реакции. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2001.
3. *Гернет М.* История царской тюрьмы. В 5 т. М.: Госюриздат, 1960.
4. *Евреинов Н.* Тайные пружины искусства // Статьи по философии искусства, этике и культурологии: 1920–1950 гг./Составл. и предисл. И. М. Чубаров. М.: Логос-альтера, 2004.
5. *Жижек Сл.* Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999.
6. *Кагарлицкий Б. Ю.* «Периферийная империя»: Россия и миросистема. М.: УльтраКультура, 2004.
7. *Подорога В. А.* Гулаг в уме // Index. Досье на цензуру. 1999. № 7–8.
8. Русские писатели. Полная библиография: НИО Информкультура «Зрелищные искусства». М., 1996.
9. *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
10. *Кагарлицкий Б. Ю.* «Периферийная империя»: Россия и миросистема. М.: УльтраКультура, 2004.
11. *Ницше Фр.* К генеалогии морали. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990.
12. *Чубаров И.* «Театрализация жизни» как стратегия политизации искусства // Советская власть и медиа/под. ред. Х. Гюнтера, С. Хэнсена. СПб., 2006.